

ЮРИЙ СЛЕЗКИН

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 3
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
МОСКВА — 1942



Коллекция
прижизненных изданий

ЮРИЙ СЛЕЗКИН

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА

РАССКАЗЫ

Издательство „Правда“
Москва — 1942

Отв. редактор Е. ПЕТРОВ

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Издательство „Правда“ | | Иад. № 92. |
| A50125 | Зак. типогр. 125 | Тираж 150.000 |
| Формат бумаги 105×148 мм. | Печ. л. 1 ¹ / ₈ | Зн. в 1 п. л. 43.200 |
| Цена 20 коп. | | Подп. к печ 17 II 1942 г. |

Тип. «Красное знамя», Москва, Сушевская, 21.

ВОСПИТАНИЕ ХАРАКТЕРА

I

Школа стояла на горке. С одной стороны, сейчас же за огородами и оврагами, притаился в сугробах лес, с другой — шла городская улица, переходящая в шлях. Овраг огибал горку и школу по задворкам и подходил к дороге за городом. По его глубокому дну с нависшими над ним соснами партизанам легко было незамеченными пробраться к окраине слободки и бить в тыл заслонону, прикрывавшему отступление немцев. Они пришли совсем недавно, но уже отходили, яростно отбиваясь от наседавших красных войск. Немцам было не до школы; она поэтому случайно уцелела и служила партизанам боевой базой. Все это Пашка Голутвин растолковал «учительше» Елизавете Романовне, школьному сторожу Григорию Никитичу и дочери его Соне. Несколько подросткам поручено было спускаться из погреба на дно оврага боеприпасы, и Елизавета Романовна поставлена была выдавальщицей.

— Так они с рук на руки и потекут к нам. Никакой чорт не заметит! — торжествующе говорил Голутвин.

План был, и точно, разработан тщательно. Немецкий заслон неминуемо попадал в ловушку.

Голутвин смотрел на Елизавету Романовну, и от волнения его нос и лоб вспотели.

— Теперь ты все знаешь... В случае чего, если они вернутся, тебе отвечать. Отмолчишься?

Он знал заранее ее ответ, не сомневался в нем. Елизавета Романовна взяла его руку, лежавшую на столе, и крепко ее пожала.

Так, не разнимая рук, протянутых друг к другу через стол, учительница и ее юный друг несколько минут просидели молча. А чуть забрезжил восход, Елизавета Романовна уже притаилась на дне погреба. Она ничего не могла видеть. В глубокой тишине, мраке и холоде она сидела на корточках у мешка с патронами и слушала биение своего сердца. Изредка глухо до нее доносились артиллерийские разрывы, скреблась мышь. Она ждала. На коленях у нее лежал револьвер. Она впервые ощущала холод его полированной стали. «Если сюда ворвутся фашисты, последнюю пулю оставляю себе. Из темноты стрелять будет легче... — она улыбнулась. — Но я не умею стрелять...»

Все это было слишком невероятно. Она стирала с лица какую-то липкую паутину и старалась взглянуть в темноту. Как могло случиться, что она, взрослая женщина, педагог, сидит здесь с револьвером в руках, готовая выполнить боевое задание? Как могло случиться, что она, не задумываясь, не рассуждая, включилась в единую цепь и уже не принадлежит себе? Еще так недавно она мучительно думала: как поступить, что делать дальше, чем помочь и как помочь?.. Долго ли ждать своей очереди и на что решиться? И вот все пришло само собой. И выбрать нечего. Из погреба вылез Голутвин и предложил ей сесть на его место. И она села... только всего!

Все эти мысли проплывали у нее стороною. Внимание не отвлекалось. Слух продолжал напряженно ловить каждый шорох. И все же она вздрогнула, когда услышала над собою условленных три удара. Она поднялась на затекшие ноги и ослабшей рукой приподняла люк. В ярком дневном свете она увидела румяное от мороза лицо Соня.

— Давайте, Лизавета Романовна, — шепнула Соня.

Елизавета Романовна подала ей первую пачку патронов:

— Ну что, как?

— Начали, — отвечала Соня, — бьют...

Она сопнула носом и жалостливо посмотрела на свою учительницу:

— Вам не страшно, Лизавета Романовна? Мне, ух, как страшно! Так и свистят пули...

Она с трудом поднялась и скрылась за дверь. Лизавета Романовна посмотрела ей вслед и снова захлопнула над собою люк.

Условные три удара повторялись все чаще: То Соня, то какие-то незнакомые парнишки склоняли над люком свои взволнованные лица. Лизавета Романовна дышала тяжело, ей стало жарко, она глядела снизу на знакомые предметы в кухне и не узнавала их. Все перепуталось в ее представлении, сошло с привычных мест. Она потеряла время, плохо понимала, где находится.

И внезапно снова сонин голос:

— Лизавета Романовна...

Голос обрывается, дыхание прерывисто:

— Лизавета Романовна... Ой... поубивали... Немцы тучей посыпали... Вот они стреляют...

Она заикалась от возбуждения, сотрясавшего все ее худенькое тело.

— А Голутвин? — невольно вырвалось у Лизаветы Романовны.

— Упал... Я к нему ползла, оборвалась... Мне одной не вытянуть...

Не помня себя, забыв осторожность, Езерская уже выскочила из люка, уже отворила кухонную

дверь, уже бежала по двору, уже рванулась на крутой откос...

Она уцепилась "застывающими" пальцами за снежные глыбы — они поползли вниз вместе с нею. Ей казалось, что она барахтается на одном месте. Нетерпеливое бешенство овладевало ею. Она подымалась на ноги, проваливалась по колени, потом снова ложилась на живот и локтями подтягивалась вверх.

Соня доползла до Голутвина первая. Он лежал ничком, у его щеки снег был красен. Соня пыталась перевернуть его. Он шевельнул ногой. Он был жив. Жив! Пуля пробила ему плечо и застряла в груди. Он захрипел, розовая пена запузырилась у него на губах. Надо было скорее унести его отсюда.

Елизавета Романовна вскарабкалась на гребень обрыва, легла наземь и, протянув руки вниз, подхватила Голутвина за кушак. Соня снизу поддерживала его. Потом они потащили его по снегу, не вставая на ноги, чтобы не привлечь к себе внимания. Они втащили его в дом. Они выбились из сил. Голутвин потерял сознание.

Елизавета Романовна схватила с веревки простыню, разорвала ее и, промыв рану, сделала перевязку. Голутвин открыл глаза и застонал. В школьные двери уже ломились. Переглянувшись и поняв друг друга без слов, они спустили ранено-

го в погреб. Когда Соня захлопывала крышку люка, Елизавета Романовна была уже у парадной двери.

В школьной раздевалке сбились в кучу женщины и дети. Они искали здесь защиту от огня и насилия. На пороге в луже крови лежала девочка, убитая пулей. Дверь трещала от ружейных прикладов.

Елизавета Романовна повернула ключ в замочной скважине и тотчас же увидела наведенное на нее дуло револьвера.

— Руки вверх! — крикнул сорванный голос.

Голос был по-чужому резок, но слова произнесены четко и правильно.

На пороге стоял немецкий офицер. За ним вошли солдаты с ружьями наперевес.

Подняв руки и удивляясь своему спокойствию, какой-то внутренней тишине и собранности, Елизавета Романовна молча смотрела на вошедших.

— Отсюда стреляли! — крикнул офицер.

Она в упор глянула на него.

— Стреляли сюда, в школу, — ответила она сдержанно. — Не знаю, почему вы избрали мишенью мою школу и нападаете на безоружных женщин...

— Не говорите вздора! — резко перебил ее офицер. — Мы ищем мерзавцев, стрелявших в нас...

— ...а убиваете детей! — Елизавета Романовна повела глазами на убитую девочку.

Офицер посмотрел в ту же сторону и, не отвечая Езерской, по-немецки солдатам:

— Обыскать и выкинуть вон! — кивок в сторону женщин. — В школу никого! — и к Елизавете Романовне по-русски: — Ведите!

Елизавета Романовна пошла вперед. Он шел за ней, держа наготове револьвер.

Она провела его по школьному коридору. Он открывал ногою двери в классы. Елизавета Романовна нарочно шла медленно, заглядывала в каждый закоулок: хотела дать время Соне замести следы. Они осмотрели учительскую, рекреационный зал, заглянули в уборные, обшарили чердак. Офицер молчал, солдаты выстукивали прикладами стены, залезали под лестницу.

Наконец, Елизавета Романовна отворила дверь в свою квартиру. Она вошла в первую комнату — свой кабинет и столовую. Офицер остановился на пороге.

— Разрешите? — спросил он, шевеля усами, улыбаясь и в то же время продолжая держать у груди в согнутой руке револьвер.

— У безоружных вооруженным незачем спрашивать разрешения, — ответила Елизавета Романовна и села на первый подвернувшийся стул. — Делайте свое дело и дайте мне отдохнуть.

Она почувствовала смертельную усталость. Ноги отказывались идти. Ее спокойствие, видимо,

стояло ей дорого. Она едва сдерживала себя, чтобы не закричать. Бессонная ночь, физическое напряжение, беспокойство за Голутвина, сознание грозящей ему смертельной опасности, невозможность разделаться с врагом и необходимость держать себя с ним непринужденно подорвали ее силы. Каждое лишнее движение могло выдать ее и предать Голутвина. То, что он лежит здесь и вот-вот убежище его может открыться, наполняло все существо ее смертельным холодом.

— Ба! — сказал офицер. — Кто же это у вас поет?

Елизавета Романовна с трудом напрягла слух. В ушах ее шумела кровь, но и она услышала песню. За дверью, в кухне, тоненький голосок под сурдинку пел любимую ее песню, которую она частенько мурлыкала, вспоминая отца:

«Сторона ль ты моя, ах да
Ты, сторонущка...»

— Да, — сказала Елизавета Романовна, превозмогая себя, — это поет моя прислуга, девчонка... Не пугайте хоть ее... спрячьте ваш револьвер!

Она не встала, чувствуя, что ноги не удержат ее, но голос прозвучал спокойно. Офицер толкнул носком сапога дверь в кухню. Сердце подкатило ей к горлу, она открыла рот, чтобы глотнуть недостающего воздуха. На нее пахло благодным

теплом. Весело потрескивали дрова в печке, из котла шел пар. Соня стояла спиной к двери над корытом. Корыто поставлено было на скамью, скамья помещалась на плотно прикрытой крышке люка. На полу пузырилась мыльная пена, разлилась лужа воды, лежало ворохом грязное белье.

Елизавета Романовна увидела, поняла и оценила все это разом. Тепло согрело ее одеревеневшие члены. На стук двери Соня оглянулась. Она оборвала песню и с детским любопытством, прекрасно разыгранным, посмотрела на немца. С ее рук падала пена в корыто, лицо покраснелось.

— Соня! — крикнула Елизавета Романовна. — К нам пришли искать каких-то людей. Может быть, ты видела кого-нибудь?

Соня подняла брови, тыльной стороной руки откинула со лба упавшую прядь волос.

— Так там же стоят какие-то с ружьями, — ответила она с готовностью и указала на наружную дверь во двор. — Я хотела воду выплеснуть, а они не пустили.

Офицер досадливо махнул рукой.

— Это моя охрана, — сказал он и сел на стул. Он закурил. Подстриженные усики шевелились, дальнзоркие глаза смотрели пристально.

— Я вас видел раньше, — сказал он. — Вы та самая строптивая учительница, которая молчала на допросе...

— Тогда вы не говорили по-русски, — ответила Елизавета Романовна. — Успели выучиться?

Офицер засмеялся, дымя сигарой:

— При служебной обязанности я говорю только по-немецки. По-русски владею давно и могу поддерживать разговор с дамой... Мой отец — Адольф Адлер. Вы не слышали фамилии? Угольная компания — Адлер! Донбасс. О! Прекрасное дело! Я полагаю восстановить его... А учился я в Петербурге, в Петэршуле и Горном институте. У меня много русских друзей. Никто не предполагал, что я германский подданный.

— Мне трудно поддерживать разговор, я едва сижу, — оборвала его Езерская. — Вот там. Загляните туда, если угодно, и дайте мне покой...

Он вдруг вскочил, торопливо применяя в пепельнице недокуренную папиросу, надел фуражку, подтянул ремень на шинели и приказал своим телохранителям идти вперед.

— Вашу школу, — проговорил он, — займет войсковая часть.

Елизавета Романовна прислушивалась к его удаляющимся шагам. Силы вернулись к ней. Она поднялась стремительно со стула, торопясь закрыть двери на ключ. Но Соня опередила ее.

— Что нам делать с Пашей? — шепнула она. — Он стонал... Теперь ничего не слышно...

— Вынести его наверх, осмотреть рану, переменить повязку, — ответила Елизавета Романовна, снимая корыто, отодвигая скамейку. — Немцы могут спуститься в подвал, найти ход в погреб — тогда все пропало...

Они подняли крышку люка, спустились по шаткой лесенке, чиркнули спичкой и оглянулись. Погреб был пуст.

II

Отчаяние овладело ими. Они топтались в саженном пространстве погреба, по многу раз оглядывая каждый угол, поднимая мешок с оставшимися патронами, точно Голутвин был иголкой, забившейся в щель. Они попытались нащупать дверь в подвал, но она была плотно прикрыта. К тому же до них донеслись приглушенные голоса. В подвале или у его порога находились люди.

Выйти к ним из погреба значило бы навлечь подозрение на себя и ничем не помочь Голутвину. Они поднялись в кухню.

Елизавета Романовна решила тотчас же бежать во двор. Она не знала точно, что именно предпринять, но ожидание казалось невыносимым. Если Голутвину удалось скрыться — что было почти невероятно, но чему хотелось верить, — то это легко было бы установить, оглядевшись вокруг и прислушавшись к разговорам. Если он пойман,

они узнали бы об этом тотчас же и успели бы предпринять что-либо к его спасению. Но Соня решительно запретила Езерской выходить из дому. Она перехватила ее у двери и насильно увела в столовую. Она горячо убеждала, что ей гораздо легче, не вызывая подозрений, выйти на двор будто бы за волою, проникнуть в подвал, в комнату отца, а если будет необходимо, то порыскать по улице и заглянуть в соседние дворы, где жили ее подруги и знакомые. Елизавета Романовна согласилась с ее доводами. Соня накинула платок, захватила ведро и пошла в сени, но тотчас же вернулась обратно.

— Там солдат! — в отчаянии шепнула она. — Он не пускает... он с ружьем...

Странная догадка мелькнула у Елизаветы Романовны. Не смея верить, она бросилась к двери, ведущей в школу, и распахнула ее. У порога стоял солдат с винтовкой. Она сделала движение пройти, но ружье преградило ей путь.

— Пропустить! — крикнула она в бешенстве.

— Нет, — равнодушно ответил солдат.

— Но мне нужно пройти в школу. Я учительница. Я отвечаю за имущество. Где ваш начальник? Я пойду к нему.

— Verboten! Нельзя!

— Тогда позовите его сюда!

— Zurück! (Назад!)

Пререкалась было бесполезно. Они оказались под домашним арестом. Обессиленная, Елизавета Романовна вернулась в столовую и упала на стул Соня прижалась к ней, едва удерживая слезы. В опустошенном мозгу пронеслись отрывки разговора с фашистом. В его словах было что-то двусмысленное. Он что-то знал, он перехитрил ее. Усталость не позволила вовремя заметить это. Но что толку?.. Теперь поздно... поздно..

В жизни своей Елизавета Романовна не выносила бездействия. Даже недомогание она лечила усиленной деятельностью. Сидеть взаперти тогда, когда дорогой ей человек за стеною, в нескольких шагах от нее, подвергался пыткам, было физически непереносимо. Елизавета Романовна снова вскочила на ноги, хотя едва волочила их. Одно мгновение она готова была разбить окно и выскочить во двор, но тотчас же поняла бессмысленность этого. Она плюнула бы в глаза этим мерзавцам, но что толку? Отчаяние все же не отняло у нее рассудка. Привычка взвешивать, соображаться с обстоятельствами, учитывать силы и возможные последствия, воспитанная долгими годами учительства, в ней не угасла.

— Если Голутвину удалось уползти в укромное место и его не нашли, — говорила Соне Елизавета Романовна, шагая по комнате и что есть силы сжав за спиной руки, точно это помогало

ей превозмочь душевную боль, — если он скрылся, то всякий наш лишний шаг для его поисков только увеличит опасность... Если же он пойман, то все уже кончено, — с трудом договорила она. -- Не плачь, Соня. Мы среди врагов. Голутвин даром не отдал своей жизни.. Мы тоже не должны отдавать ее зря. Мы должны быть умнее врага.

Соня сидела на стуле, который только что оставила Елизавета Романовна. Девочка сидела, вытянувшись, подобрав под стул ноги, положив ладони на колени, как благонравная ученица. Лицо ее было заплаканно, но сосредоточенно. Изредка она тяжело вздыхала, удерживая слезы. Глаза ее следовали за Елизаветой Романовной. Та говорила громко, но говорила больше сама с собой. Думать молча казалось невозможным.

— Враг, — говорила Елизавета Романовна, — он очень хитер. Он догадался, кто мы.

Соня молча кивнула головой. Елизавета Романовна замолкла, глядя в окно, за которым угасал короткий, зимний день. Она различала за морозными узорами мелькающие тени людей.

— Враг.. — снова сказала она и только сейчас поняла все значение этого слова.

Она ощутила его всем своим существом. Горячая волна прошла по телу. Ненависть сжала горло. Ни тогда, когда она сидела в погребке и вы-

давала патроны, ни после, когда немцы вновь захватили город и когда она в тревоге кинулась на поиски Голутвина, ни тогда, когда увидела его раненым и спрятала от преследования, и даже ни тогда, когда лицом к лицу столкнулась с вооруженным врагом, она не испытывала к нему такого чувства. Она не знала ненависти за всю прожитую жизнь. Она только говорила о ней, потом поняла, что ненависть существует и в иные минуты может быть благословеннее любви. Но в себе она ее не ощущала. И она не знала, что такое враг. Он казался ей отвратительным, неправдоподобным. Говоря с фашистом, она не отдавала себе отчета, что этот человек говорит и поступает, как враг.

Теперь она знала ненависть и чуяла врага всей кровью.

— Голутвин.. — невольно произнесла Елизавета Романовна, — Голутвин, родной мой!.. Клянусь тебе...

Она глядела в окно на движущиеся тени и внезапно вспомнила. Она подошла к письменному столу и торопливо выдвинула средний ящик. Кинутый ею второпях, на пачке деловых бумаг лежал револьвер. Она взяла его с благодарной радостью и в раздумье взвесила на руке. Его дал ей Голутвин в ту ночь, когда рассказал о своем плане. Это оружие — знак его доверия, залог мужества...

Соня строго спросила:

— Вы умеете стрелять?

Я буду стрелять, если понадобится.

Елизавета Романовна положила револьвер на прежнее место.

Она нашла в буфете краюху хлеба. Нало было есть: они не ели около суток. Не зажигая огня, молча жевали они хлеб.

Двое суток они сидели в своем заточении. Их не допрашивали, не объясняли причин ареста; можно было бы подумать, что о них забыли. Подавленно бродили они по комнатам, гадали о судьбе близких. За стеной, в школе, они слышали топот ног, глухие голоса солдат, иногда унылое пение. Приходили и уходили со двора небольшие команды, в шесть—восемь человек, в сопровождении офицеров. Они, очевидно, несли караульную службу. По ночам грохотали орудия, в стеклах позванивающих окон отражалось зарево пожара, за забором, тяжко сотрясая землю, проезжали какие-то громоздкие машины.

В предрассветной мгле на третьей сутки Елизавета Романовна услышала звуки приближающегося боя. Казалось, огромная лавина неслась снизу к холму и разбивалась о его подножье. С каждым всплеском гул крепчал, наливался мощью, уверенностью и, подымаясь выше, растекался все более протяжным, открытым: «А-а-а!»

Елизавета Романовна приподнялась на кровати и невольно сама открыла рот, беззвучно вторя этому «а-а». Она знала: это идут свои, это наступает Красная Армия. Она точно видела перед собою раскрытые рты, кричащие «ура», лица, возбужденные от напряжения бега, ружья в руках, поднятых для удара. Она сама подалась вперед, к окну, кулаками опершись о подушку, вытянув шею, чувствуя, как дрожит каждый мускул. Она слушала, впитывала в себя эти звуки, удесятерила их мощь, ловила отдельные голоса, которых слышать не могла... О, если бы ей быть там! Слиться с общим движением, потерять себя в нем, дышать со всеми одним жарким дыханием и всем существом своим знать, что впереди победа!.. Умереть на бегу! Но бежать к победе, а не маяться здесь в бессильной ярости..

Она вскочила, босая, на холодный пол и подбежала к окну. За двойными рамами, сквозь густой морозный узор она могла различить только опаловую игру света начинающегося утра. В школе было тихо. Может быть, стража уснула?

Елизавета Романовна на цыпочках подкралась к двери, нагнулась к замочной скважине.

Нет. За дверью солдат сонно мурлыкал какую-то песню — однообразную, унылую, без слов. Она снова кинулась к окну. Свет разгорался. Те-

Теперь он спустился ниже, поглубел. Она замерла, вслушиваясь: ей показалось, что всплески боя стали опадать, повяли. Она приложила ухо к стеклу — стало еще тише. Тогда она припала к подоконнику, в том месте, где поддувало морозцем из щели. Гул точно бы разгорался ярче, но тотчас же погас. Она дернула вторую раму — бумага по краю створок хрустнула, посыпалась замазка. Соня беспокойно шевельнулась спросонок. Елизавета Романовна притаилась. † Холод проник в комнату, гусяная кожа пошла по ногам и спине. Гул прибоя затихал. Всплески его становились все реже. Напрасно Елизавета Романовна напрягала слух, пальцем прочищала уши: ей все казалось, что в ушах гудит кровь и не дает слушать. Нет, далекие звуки замирали, тускнели, точно их поглощал в себя просыпающийся день. Мало-помалу возникали новые — дневные, близкие. Где-то грохнула дверь, проскрипела калитка, ударилось пустое ведро о край обмерзшего колодца, чей-то осипший голос крикнул что-то по-немецки.

Все было кончено. Она стояла у себя в остывшей, неприбранной комнате. За стеною просыпались ее тюремщики. Ничто не предвещало нового. Снова длинный день в неизвестности, в бесильном изнеможении.

— Не может этого быть! — громко проговорила

она. — Этого быть не может! Я слышала. Мне не почудилось. Наши близко. Они наступают! Эта подлая стукотня не дает слушать!

III

Елизавета Романовна не рассказала Соне о своем тревожном утре. Молчаливо они согласились не говорить о Голутвине, не гадать о своей судьбе, не беречь больное. Но тайком они подстерегали друг у друга растущую тревогу.

Резкий стук в дверь заставил их обеих вздрогнуть.

Стенные часы только что пробили шесть. Шторы были спущены, лампа зажжена. Елизавета Романовна бросила взгляд на письменный стол и, подойдя к двери, спросила, кто там и что нужно.

— Откройте!

Она узнала голос и, не колеблясь, готовая на все, решительно распахнула дверь.

Фашист вошел, как и в первый раз, с револьвером у груди в согнутой руке. Он сам запер за собою дверь:

— Мне необходимо говорить с вами.

Езерская отступила.

Офицер кивнул в сторону Сони:

— Прикажите своей девчонке убираться вон!

Лицо его было затенено, абажур бросал свет только на узкий круг над столом. Елизавета Романовна не могла разглядеть выражения его лица, да и не стремилась к этому. Насколько в первую встречу с ним здесь, в этой комнате, она напряженно следила за ним, настолько теперь все ее внимание было поглощено мыслью о себе — рассчитать каждое движение, каждую секунду. Перед нею был враг, тайну мыслей и желаний которого ей было и неинтересно и некогда разгадывать. Может быть, чувство самосохранения подсказывало ей поступать так. Может быть, где-то глубоко она чужала в себе слабость и всей силой своего сознания противилась ей. Она поступала, как поступает охотник, столкнувшийся один на один с хищником.

Соня стояла у письменного стола. Она не сводила глаз с офицера. Елизавета Романовна кивнула ей, но девушка не шелохнулась, черты лица ее обострились, глаза не мигали.

— Соня! — крикнула Елизавета Романовна. — Ступай в кухню!

Нехотя, точно с трудом отрывая ноги от пола, Соня вышла и закрыла за собою дверь.

— Я вас слушаю.

Елизавета Романовна села у письменного стола,

на свое обычное место. Офицер остановился поодаль. Белая рука его небрежно поигрывала револьвером, как портсигаром, легонько подбрасывая и ловя на лету.

— Вы шутите с огнем, сударыня, — начал он и замолк выжидающе, стараясь поймать взгляд Езерской, ускользающий от него.

— Говорите яснее! — оборвала она его; рука ее похлопывала по бювару.

— С задов вашей школы нас обстреливали. В подвале вашей школы мы нашли раненого большевика. За дверью, хорошо замаскированной, спрятаны были огнеприпасы. Согласитесь, что хозяйке дома следовало бы внимательнее следить за тем, что делается у нее под боком!

Рука ее скользнула с бювара чуть ниже, к ящику, нащупала ключ и замерла.

— Вы нашли в школьном подвале большевика? — спросила она с возможно большим изумлением.

— Да, это был раненый мальчишка. Он лежал на нарах и уверял, что служит у вас сторожем, что его ранила случайная пуля. Я предложил ему очную ставку с вами. Тогда он признался, что тайком залез в подвал от преследования.

— Он лежал в погребе на нарах? — переспросила Елизавета Романовна.

Отчаяние парализовало чувство самосохране-

ния. Она представила себе, что произошло: Голутвин, очнувшись, услышал топот ног в кухне, у себя над головой. Он собрал последние силы и уполз в подвал, в каморку Григория Никитича, чтобы его присутствие в погребе не изобличило заведующую школой, когда откроют люк... Пальцы ее судорожно схватили головку ключа.

— Он лежал в постели вашего сторожа, — ответил офицер. — Он был перевязан обрывком простыни... Он лгал, что случайно скрылся в подвале. Следы крови выдали его. Они привели нас от кровати к погребу, к мешку с патронами. Он отлично устроился, этот прохвост! У него были сообщники. К сожалению, нам не удалось их поймать. Когда его выволокли на двор, и окатили холодной водицей, и чуть подморозили, он обрел дар слова. Он заявил, что находился в отряде партизан, что он большевик. Мы слегка подогрели ему на костре пятки и предложили назвать пособников, спрятавших его в подвале...

— Он, конечно, не назвал их!

Елизавета Романовна опомнилась, когда этот возглас уже сорвался с ее губ. Только теперь она взглянула в лицо фашиста. Оно было невозмутимо. Может быть, он сделал вид, что не придал значения ее словам.

— Да, мерзавец не назвал их! — подтвердил он и улыбнулся.

На этот раз она хорошо увидела его улыбку. Подстриженные усики шевельнулись, тонкие губы обнажили два ряда плотно сжатых матово-желтых, как кукурузные зерна, зубов. Он улыбнулся, как улыбаются собаки. Елизавета Романовна опустила глаза и слегка дернула за головку ключа, точно бы поглощенная своими мыслями.

— Ну и что же? — пробормотала она.

— Да что же еще? — сквозь зубы процедил офицер. — Все ясно. Мы прислонили его к забору: молодчик не держался на ногах. Ему не пришлось долго агитировать, у меня рука верная. Три пули — в оба глаза и в сердце.

Остаток сознания поднял ее на ноги, заставил рвануть к себе ящик. Она видела только улыбающийся оскал зубов. Пальцы ее судорожно шарили по бумаге на дне ящика. Фашист в свою очередь медленно поднялся. Она заметила это только потому, что оскал зубов оказался на уровне ее глаз.

— Что вы ищете? — спросил он. — Мой рассказ взволновал вас? Признаюсь, я не ожидал такого эффекта!

Он отошел. Она слышала, как он наливал воду в стакан, и только тогда глянула в ящик.

Пальцы ее ловили воздух: револьвера в ящике не было... Она облизала обожженные горечью губы, чувствуя, что теряет последние крохи самообла-

★

дания. Откуда-то издалека она услышала спокойный голос:

— Карта ваша бита, голубушка моя! Вы себя выдали.

Он поднял руку.

Она увидела дуло револьвера на уровне своих глаз.

И тотчас же раздался выстрел. За ним другой. Елизавета Романовна рванулась в сторону...

На пороге кухонной двери стояла Соня. Белое пятно лица, два огромных немигающих глаза, левая рука, судорожно уцепившаяся за притолоку, правая—беспомощно опущенная вниз. Револьвер лежал у ее ног... Фашист, грузно навалившись грудью на стол, медленно оседал на подгибающиеся коленки. Из опрокинутого на столе стакана текла на пол тоненькая струйка воды...

Сознание действительности долго не возвращалось.

Елизавета Романовна видела все ясно, но не умела связать одно с другим.

И только когда тело врага тяжело свалилось наземь, она пришла в себя. Она схватила за плечи Соню и вытолкала ее из кухонной двери во двор. Стражи не было.

— Беги! — крикнула Елизавета Романовна. — Прячься!

Соня цеплялась за нее, но она заперла за ней

дверь на ключ. Она медленно прошла в столовую. Фашист хрипел, лежа навзничь. Пальцы его судорожно и бессильно парипали половицы. Револьвер валялся поодаль. Она подняла его, села на стул перед офицером. Она равнодушно смотрела в его стекленеющие глаза. С этим было покончено. Она сидела над трупом неподвижно и настороженно. Она знала, что сейчас придут за нею, что она дорого отдаст свою жизнь. Необычайная, благостная тишина разлилась вокруг нее и в ней самой. Она знала: обещанное Голутвину будет выполнено.

ВРЕМЕННО ОТСТУПИВШИЕ

«— Вы беженцы? — спросил я.
— Не беженцы, а временно от-
ступившие,— ответили мне с до-
стоинством».

Из разговора.

Невыдуманные рассказы

ПЕРВЫЙ

Стада, стада — коров, овец, коз — тянутся к нашему городку из прифронтовой полосы... Тысячи голов, изнуренных долгой дорогой, едва передвигают ноги, отстают, падают, тогда их укладывают на телеги, везут дальше...

Над тихой рекой куда ни кинь глаз — кочевья, под телегами изнуренные люди — пастухи, доярки, — больные овцы, освежеванные туши, шкуры.

С запада холодный ветер, с запада дыхание войны, кровавая вечерняя заря... А по ночам, в тумане линия пылающих костров: люди жгут хворост, пытаются согреться, стиснув зубы, смотрят в огонь. Враг согнал их с родимых мест, спалил их хаты, ограбил, надругался над немощными и стариками, оставшимися дома. *

— Мы идем месяц и четыре дня,—говорит мне доярка. Ей лет сорок пять, у нее черные острые глаза, видевшие смерть, голос ее звучит резко, она кипит негодованьем.— Мы должны доставить колхозный скот до места, чтобы он пришел весь, как один, без урону, а наш скот ходить далеко непривычный, у него ноги слабые, он идет тихо. А если на него сверху пулеметом,—это как? Это как назвать, я вас спрашиваю?! Овцы—они, известно, от страха в кучу собьются, дрожат, а их с неба свинпом хлещет подлец этот! Зачем он это делает? Самому не жрать и другим жизни не дать... Мы уходили из деревни, фронт от нас в пятидесяти километрах, оглянулись: деревня наша горит, подожгли, сволочи, бомбами... Горит деревня, а он уже тут—картечью. Мы полегли по канавам, коровы по лесу разбежались, а овец почти что всех скошил... Какие овцы были! Одна к одной, сама выходила! Вы подумайте только!.. Я ведь все понимаю: наше горе, конечно, разве поставишь рядом с материнским

Герем, когда сына убьют или дочь изнасилен-
чают,—сравнения нет. Только ведь у самой сла-
бой девчонки голос есть, чтобы злодея проклясть,
силы достанет плюнуть ему в его проклятую
рожу, ногтями глаза выпарапать, а ведь у этих-
то бессловесных овец и того нет—стоят, дрожат,
падают... Ведь это же живое наше дело губят!
Мы же их растили, выпаживали, гордость в них
свою елали, мы же от них не пользу себе до-
быть хотели, а восхищение жизни всем людям,
а он их пулеметом! Ведь это же он сам, подлец,
свое последнее убил! Надежды ему больше нет,
будь он проклят навеки! Будь он проклят!

Она повернулась к закату, лицо ее осветили
вишневые осенние лучи, в глазах горела кру-
тая, немеркнущая ненависть, худой женский ку-
лак сжался крепко, она потрясла им в сторону—
туда, где остался враг,—платок съехал с мор-
щинистого лба, открыл седеющие волосы, и
только сейчас я увидел, что женщина эта неве-
лика ростом, очень худа и несломима духом.

Я записал подлинные ее слова, я долго думал
над фразой: «Мы же от них не пользу себе до-
быть хотели, а восхищение жизни всем лю-
дям»,—и мне казалось, что более прекрасных
слов еще никто не говорил, что в них-то и за-
ключено все новое, что пришло на землю с Ок-
тябрем, что в них-то и заключена наша победа,

потому что народ, трудящийся «для восхищения жизни всем людям»,—великий и нетолемаемый народ, и труд его не пропадет даром, а тому, кто посягнул на него, нет надежды и нет жизни среди людей.

второй

По главной улице нашего городка, по которой, бывало, проходили всегда лишь два раза в день автобусы, везущие почту и пассажиров от одного областного города к другому, нынче непрерывной чередой идут, едут, скапливаются в плотные заторы гурты скота, косяки лошадей, грузовики с военным снаряжением, подводы с колхозным урожаем для Заготзерна, вереницы телег с беженцами. У телег этих непривычный для местного жителя вид—в Западной Белоруссии их называют балагулами: над каждой такой телегой с высокими бортами сооружено некое подобие шалаша из фанеры или лозняковой плетенки, и под этим шалашом ютится семья беженцев—старухи, старики, матери с грудными ребятами. Правит лошадей в большинстве какой-нибудь мальчонка-подросток, черный от дорожной пыли и усталости. У открытого края шалаша, обращенного к лошади, обычно звенит, брякает подвешенное ведро; тюки с домашним скар-

бом перевязаны веревками и расползаются при каждом толчке; тощая лошадь тяжело поводит боками, и в такт звяку ведра хлюпает ее большая селезенка...

Местные жители собираются вокруг этих телег, разглядывают приезжих, с пугливым и сочувствующим любопытством слушают их трагическую повесть. Долгие недели едут беженцы из разоренных, поруганных врагом мест. И недаром так хмуро сосредоточены лица слушателей. Они хорошо понимают, чего стоит своими собственными руками разорить родное гнездо...

— Это все равно, что вырвать из груди сердце и бросить его на дорогу собакам,—говорит старуха-слушательница с лопатой на плече; резким движением она сбрасывает с плеча лопату и ударяет ею о землю.

Все эти беженцы ушли добровольно. Никто их не гнал, никто их не эвакуировал. Они ушли, потому что не хотели оставаться в руках у фашистов и не имеют сил бороться с ними. Их мужья, братья, сыновья, внуки, бездетные сестры разбрелись по лесам—партизанить.

— Злодеям ничего не достанется в наших домах,—говорит старик, почесывая реденькую сивую бороденку,—а много всего было! Только разве увезешь все на таком коняге? Куда там!

Молчание. Долгое, сосредоточенное. Слушатели видят перед собою свой собственный дом, свое хозяйство, трудовое колхозное добро. Они переводят глаза на тяжело дышащего, с запавшими боками конягу. Нет, на этом не увезешь. Пот прошибает при одной мысли, что надо из всего нажитого выбрать и увезти только эти четыре — пять узлов с барахлом и провиантом. А остальное? Что с остальным?

Этот вопрос на всех лицах. И на всех лицах тяжкая, но неколебимая уверенность в ожидаемом ответе.

— А что же,—как бы даже извиняясь и еще ожесточеннее тербя свою бороденку, говорит старик:—пришло такое дело, что своими руками поломали... потопили... пожгли...

Теперь старик не смотрит на слушателей, он начинает старательно и суетливо возиться со шлеей, залезает почему-то под брюхо коняге, шупает и растирает коняге впалые бока.

Молчание еще более долгое, напряженное. Никто не пошевелится, не изменит выражения лица. Глаза внимательно следят за тем, что делает старик, а губы сжаты плотно—и у старухи с лопатой, и у женщины с ребенком на руках, и у парнишки на облучке, и у двух колхозников, только что славших в Заготзерно артельный хлеб. Все знают, что значит собственными руками по-

ломать, потопить, сжечь плоды трудов долгих лет... Это труднее, чем самому нарочно отрезать себе руку. Но так надо было сделать, если ты уважаешь свой труд. Объяснить это никто не сумел бы, но я убежден, что все так думали.

Наконец, один из колхозников, привезших хлеб в Заготзерно, сказал, не глядя на старика, ни на кого не глядя и вовсе не желая кого-нибудь утешить, потому что голос его звучал по-деловому просто и уверенно:

— Вот управимся — наживем.

И, тяжело ступая, пошел к своей подводе.

Старик высунул голову из-под брюха коняги и долго смотрел вслед ушедшему белесыми, глазными глазами. Слушатели медленно расходились по своим делам.

Утешать было некому и некого.

ТРЕТИЙ

В таком вот фургоне, балагуле, телеге с лубяным верхом, я увидел ее, кормящую ребенка. Она сидела на узле с вещами, поджав ноги, у края лубяной будки, вожжи лежали у ее колен, лошадь, завернув в сторону оглобли, щипала пыльные стебли сорняка у обочины улицы.

Ребенок, завернутый в теплый платок, блаженно сосал грудь. Лица его я не видел — только его

розовые губы и нежную, с голубоватыми жилками напряженную грудь матери. Резкая черта загара под шеей особенно подчеркивала белизну и нежность груди и ту трогательную, невинную, материнскую беззастенчивость, с какой эта молодая мать в центре города, на виду у всех, кормила свое дитя.

Шея и лицо женщины не только были темны от загара, но попросту грязны и покрыты той сетью мелких трещинок-морщинок, какие обычно покрывают долго немытое, обветренное и исколотое пылью тело человека, многие дни проведенного в изнурительном пути. Но несмотря на эту грязь, на эти не по летам морщинки, а может быть, именно благодаря им лицо матери искажалось мне так прекрасно, что я невольно залюбовался им. На голове ее не было платка, густые каштановые волосы вились у высокого лба, волной прикрывали уши и падали на затылок тяжелым, плотно скатанным узлом. Глаза смотрели куда-то вперед себя, без видимой цели; они были очень глубоки и черны, такую сияющую черноту глаз заметил я только у киевлянок — она кажется светлой, как светел бывает ночной Днепр, — но те глаза, что я видел сейчас перед собою, светились еще каким-то особым светом, и только много позже я понял, что свет этот был от невыплаканных слез. Да, у этой матери глаза были

сухи, но полны слез—и когда она смотрела в неясную даль, и когда взглянула на меня, и когда заговорила

Если бы она заплакала, если бы хоть на одно мгновение слезы поползли по ее худым щекам, если бы губы разомкнулись безвольно и задрожал бы голос, мне стало бы легче и я многое из того, что она рассказала, приписал бы женской слабости, понятному страху перед невообразимостью надвинувшихся на нее событий. Но губы женщины не оставляла жесткая, горькая складка, какая появляется только у человека, преодолевшего страх.

И телега с лубяной будкой, и лошадь, и вещи, нагруженные в телегу, и даже узел, на котором сидит женщина, не принадлежат ей и не вывезены из ее села, из ее колхоза. У нее ничего не осталось. Она и ребенок...

Шестьдесят два километра она шла пешком, скрываясь в ярах и кустарниках, питалась суницей¹ и сырыми грибами, пока не добрела до красноармейской части. Красноармейцы довели ее до одной из маленьких прифронтовых станций. Там ее подобрал обоз беженцев. И вот она с добрыми людьми едет дальше, в глубь страны, будет работать в каком-нибудь далеком от родных мест колхозе. Муж ее — красноармеец, она

* С у н и ц а — по-украински зем'яника.

получает пособие. Ей выдают хлеб. Но то, что осталось позади, не изгладится, не сотрется, не уйдет из памяти...

Она рассказывает свою историю, очевидно, не мне первому. Она повторяет ее каждому, потому что не может отделаться, не может скинуть дѣло со своих плеч.

И каждый раз память подсказывает ей новые подробности.

Их колхоз над Днепром — небольшой, но крепкий и дружный колхоз, и она сама тоже из небольшой, но дружной семьи, и она была очень веселой девушкой, и работала не хуже других, — а кто даже говорит, что лучше многих, — и пела песни, и гуляла с девчатами и парубками в лунные ночи по-над Днепром, и каталась в лодке, и любила очень кино, и любила водить парней за нос, и, может, оттого, что она была такая веселая и озорная, с нею и стряслось лихо.

Но только все-таки нет, не с нею одной случилось лихо и не в том дело, что теперь она в одном платье, с ребенком на руках осталась в мире и болеет душою за мужа, а в том, что простить себе не может, как она не згла чело- века, с которым прожила бок о бок столько лет..

— Кто же этот человек? — спросил я.

— А то ж моя свекровь, мать моего мужа, Федосья Ивановна...

Она не любила Федосью Ивановну и тогда, когда только познакомилась с ее сыном, с Мишей, и когда вышла за него замуж. Она не любила Федосью Ивановну и уверена была, что Федосья Ивановна тоже ее не любит, потому что иротивится ее браку с сыном, и подсмеивается над ее неумением вести хозяйство, и хвалится, что ей никогда не догнать свою свекровь в работе... У Федосьи Ивановны был очень острый язык, она не полезет в карман за словом, чтобы ответить человеку, и за это ее многие не любили и считали гордой. А когда за ударную работу Федосью Ивановну премировали новой хатой, просторной, в две комнаты с кухней, тогда совсем от ее гордости не стало житья. Она постлала половичок в сенях и сама смотрела, чтобы каждый, кто входит, вытирал ноги об этот половичок, и вставала до свету, чтобы смести пыль с каждой вещи — а все вещи были дареные от колхозников, — и говорила всем, что надо заслужить такой подарок и не всякий может заслужить, и еще больше загоняла на работе всех девчат в своем звене, чтобы они оправдали себя перед обществом и не срамили бы ее — своего бригадира.

Она всем не давала покою, даже председателю выговаривала, что то не так, а это надо вот как... Прямо беда была с нею! И сколько раз моя

рассказчица жаловалась на свекровь мужу и говорила, что старуха заедает молодую жизнь, не дает свободно вздохнуть. Муж, конечно, не хотел обидеть жену и не смел перечить матери. Или он лучше других видел, что это за человек Федосья Ивановна?

— Уж когда к кому-нибудь несправедливы, то уж до конца несправедливы,—выдохнула от всего сердца рассказчица.

Ребенок заснул. Мать отняла его от груди и медленно стала баюкать. Глаза ее все так же были светлы и глядели в неясную даль перед собою.

— Он у меня родился этой весной, в мае месяце,—раскачиваясь, продолжала женщина, — а двадцать второго июня муж ушел на фронт...

Она бежала следом за мужем и плакала, потому что она любила мужа и ей страшно было остаться одной с ребенком, а свекровь взяла ее за плечо и увела к себе и сказала, что она не смеет разрывать сердце мужу, когда он идет на такое святое дело, а у самой глаза были сухие и гневные, так что даже страшно было на них взглянуть. И тут вся обида и горе подкатили к сердцу, и молодая мать стала кричать в лицо свекрови, что у нее нет и никогда не было сердца, а только одна гордость, и что она никого не жалеет и всех загоняла на работе, а теперь

не пожалела родного сына, и что пусть она не думает, что если ее премировали, так она всех лучше! И пусть не радуется на свой дом и не дрожит над ним, потому что когда люди идут на смерть, то тогда наплевать на самый красивый дом, пусть он пропадет пропадом!

Она сама не помнит, каких еще злых слов не высказала свекрови, а та все молчала и только когда услышала про дом, то сразу как крикнет: «Замолчи, пустая голова! Замолчи! Какое ты слово посмела сказать: чтобы дом этот пропал пропадом! Да он же народом воздвигнут! Он же каждым бревнышком труд наш прославил! Труд! Дурья твоя голова! А ты плевать на него вздумала! Не видели бы тебя мои глаза после этого! Только потому, что ты молодая мать и жена бойца, не гоню я тебя отсюда вон. Но богом прошу: не говори больше ни слова! Не хочу я слышать в такую строгую минуту глупые слова!» И пошла от меня из дому и не возвращалась допоздна. Так мы с ней после и не разговаривали. Очень я была на нее обижена и перебралась от нее с ребенком под крышу,—там на чердаке светелка такая была устроена, с крыльчком, в ней старуха осенью яблоки сушила, от них очень хороший дух шел..

Осталось в ту пору в колхозе четыре старых мужика и тридцать семь баб с ребятами — всех

рабочих рук! А урожай огромный, прямо даже страшно глядеть, как это со всем управиться! День и ночь с поля не уходили. И жнут, и скирдуют, и молотят... И тут в самую страду прикакивает человек из района и велит всё, что обмолочено, скорее в соседний район везти, скот выводить пастухам и дояркам на большую дорогу, а что не убрано, то сжечь и свое добро поховать по тайным местам, а самим быть готовыми к эвакуации...

Что тут пошло, и сказать простыми словами нельзя. 2

А у молодой матери от перепуга молоко пропало, и ребенок заболел и плачет, а свекровь объявляет всем, что ей идти некуда, и дома своего она никому не оставит, и фашистов она не боится.

— Тут уж все стали на нее кричать и стыдить ее за несознательность, но она стояла на своем и внука мне не отдала — заперла от меня. «Иди, — говорит, — куда хочешь, сын красного бойца в своем доме останется, никто его не посмеет тронуть, а бабушка прокормит».

Матери пришлось подчиниться. Колхозницы уехали, два мужика подались в лес партизанить, и только один дом остался обитаемым. Жили в нем свекровь с невесткой и сын бойца. Все трое молчали: взрослые — потому что были насмерть

обижены друг на друга, младенец — потому что еще не знал слов.

И вот в одну августовскую ночь молодая мать, покормив сына, слышит из своей светелки под крышей на дворе шум. Будто гудят машины, такие, какая была у агронома, выигрышная, — мотоцикла. Гудят, фукают, стреляют на колхозной площади, а потом раздается стук в закрытые наглухо пустые хаты, треск ломаемых досок, глухие голоса... Голоза все ближе — и вот уже стучат в ворота дома свекрови... Немцы!..

У молодой женщины ослабели ноги, отнялись руки — ни бежать, ни пошевелиться не может, — едва доползла до сына, схватила его и затаилась в углу.

Брякнул засов, твердый голос свекрови спросил: «Кто там?» Ей что-то ответили. Слышно было, как свекровь прошла по двору, отомкнула ворота. Двор наполнился хрустом, говором мужских голосов, и их покрыл все такой же твердый голос свекрови: «Чего же вы на меня револьверами тыкаетесь? Я одна во всем колхозе осталась — на меня и одной пули хватит. Говорите: что надо?» Что ей отвечали и какой дальше пошел разговор, молодая женщина не разобрала; жестокая дрожь и звон в ушах от все возрастающего страха притупили ее внимание. Она только поняла, что фашисты уже вошли в дом и све-

кровь приказывала им обтереть о половичок ноги. А потом стучала в печке ухватом, — видно, развела огонь, — и непрошенные гости двигали стульями и уже громко говорили, и смеялись, и кто-то из них кричал: «Водка!», — и свекровь ответила, что когда вскипит борщ, то найдется и водка...

Тут лютая спазма ненависти сдавила горло молодой женщины: вот она еще оказалась какая подлая, эта постылая свекровь! Мать любимого мужа, бабка невинного внука, премированная бригадирша, советская колхозница!.. У, подлая! Только бы дом остался цел! Только бы свое добро спасти! А еще смела ругаться, а еще сме- ла других учить! Водкой будет угощать злодеев? Той самой, припасенной от свадьбы на пер- вый зубок внука водкой! Той самой, что муж привез из города вместе с подарком жене — пу- ховой шалью и мясорубкой для котлет! Никогда! Не бывать этому! И вот уже в ногах былая упругость, в руках сила. Молодая женщина вска- кивает, она бежит к двери, она открывает ее и видит перед собою свекровь. Нет, она не видит ее, потому что на чердаке темно, но признает тотчас привычным чутьем, ненавистью, какой те- перь кипит к ней ее сердце. Свекровь стоит, нагнувшись над сундуком-скрыней, в котором она хранит свои припасы. Ошупью она шарит в глубине скрыни, звякает чем-то и вытаскивает

оттуда литровую бутылку. Но тут молодая женщина хватается ее за руку и, задыхаясь, шепчет ей глухим шопотом: «Не дам, подлая! Фашистская тварь! Уйди! Убью!» И тут голос у нее сорвался до крика, а свекровь берет ее своей сильной рукой за локоть и шепчет: «Дура, не кричи! Услышат!»

Но молодая женщина вырывается и свободной рукой хватается бутылку. И рука свекрови с бутылкой трясется, и из бутылки хлещет водка, но она пахнет тошно и едко керосином...

Толкая свою невестку назад, в дверь светелки, свекровь шепчет ей, как ребенку дурному и оголтелому: «Ты что шумишь? Ох, голова моя глупая! Чего хочешь? Чтобы немцы твоего сына убили, тебя опозорили? Сейчас бери сына в руки и кутай его в пуховый платок—вот он лежит у тебя под ногами—и лезь скорее сюда на крышу, там у края стремянка стоит. Бежи отсюда, пока они не слышат, бежи, бога ради, скорее, не копайся, несчастье ты мое глупое!..»

И молодая женщина не противилась. Она вылезла в окно с ребенком на руках, и, только уже сползши на край крыши, обернулась, и спросила: «А как же вы, мама?» Первый раз так назвала свекровь. И та махнула ей рукой, и ничего не ответила, и закрыла окошечко.

Только за огородами, из канавы, присев и

успокаивая проснувшегося сына, молодая женщина оглянулась на дом свекрови, и там в окнах был свет. Только в одном доме среди черных, мертвых домов был свет, и тени колебались в окнах, и доносились оттуда ненавистные голоса...

И молодая мать пошла дальше... А ночь была холодная, сырая, темная, и в лесу хрустел валяжник, пахло погребом, и казалось, что так навеки будет темно и сыро...

Она все шла и плала. Но когда рассвело, то оказалось, что она стоит на опушке леса, недалеко от того места, от которого начала свой путь. Всю ночь она проплутала в лесу, крутилась вокруг одного и того же места. Тогда ужас охватил ее. Она вспомнила все, что случилось вчера, вспомнила свекровь и бутылку с керосином в ее руках, только сейчас поняла, зачем свекровь достала керосин вместо водки, и в ужасе закричала. Что-то случилось очень страшное в эту ночь, да, да, что-то случилось!..

Она кинулась назад в деревню. Она не таилась теперь ни от кого, у нее не было страха встретить врага, она, может быть, даже хотела этой встречи... Но никто не попылся ей на ее сумасшедшем пути. Она пробежала деревенской улицей, она металась несколько раз по ней, все не находя дома свекрови и никак не понимая, что дома уже нет, что он сгорел, дымящийся

стены, черные балки, белая в черных подпалинах печь — вот все, что осталось от дома. Только когда молодая женщина увидела кинутые наземь пять мотоциклеток, она поняла: дом сожгла Федосья Ивановна, и в нем сгорели все пять фашистов, и сама Федосья Ивановна обрекла себя на смерть.

«Мамо! Мамо! — кричала, обезумев, невестка. — Мамо, простите меня! Мамо! Откликнитесь! Мамо!»

Но мама откликнуться не могла, одни лишь обугленные кости да пепел лежали у белой задымленной, страшно глядящей в небо печи.

— Только я по ней не плакала, нет, вы не думайте. Может, у меня такое сухое сердце, только я по ней не плакала, совсем так, как она сама, когда провожала своего сына, а моего мужа. Я теперь это понимаю.

СОДЕРЖАНИЕ

| | <i>Стр.</i> |
|--------------------------------|-------------|
| Воспитание характера | 3 |
| Времето отступившие | 28 |

Цена 20 коп.